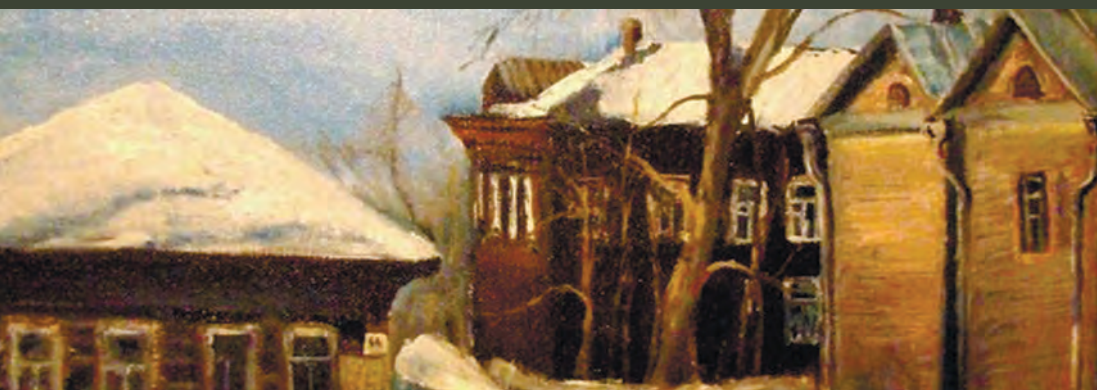


Галина Кшилова



В своём роде

Галина Климова

# В своём роде

Москва

**«Воймега»**

2013

УДК 821.161.1-1 Климова  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5  
К49

Дизайн серии: Сергей Труханов

**Г. Климова**  
К49 В своём роде — М.: Воймега, 2013. — 56 с.

ISBN 978-5-7640-0141-8

Книга выпущена при поддержке Алексея Коровина.

© Г. Климова, текст, 2013  
© «Воймега», 2013

*Какие отчизны бездомны, бездетны какие дома?  
Где гнёзда крепки лишь тоской родового напева?  
Кто — сверстники капли,  
и камня,  
и райского древа?  
Кто — сёстры и братья единого щедрого чрева?  
Сиротскою стала зима.*





## Мой папа — Даниель

При понятых:  
аккомпаниатор, уборщица и канарейка —  
в актовом зале музыкальной школы  
мне объяснили, что я — еврейка.  
И всё захолонуло от стыда и срама  
во мне, нечистой и будто голой,  
и зажмурилась рампа,  
и захлопнулась рама.

За скрипку не бралась долго,  
потому что — еврейка. Всё. Шабаш!

Вот и бабушка,  
положив зубы на полку,  
бухтела: *все евреи как евреи, а наш?*

По всему выходит, виноват мой отец,  
его непроходимо-чёрные союзные брови  
и чужестранное — *Даниель?*  
И я от горя слегла в постель  
с подозрением  
на наследственную болезнь крови.

Но это была любовь  
без межнационального раскола.

Кружила голову  
биографии отцовская школа:  
театр «Синяя блуза» и бледный ребе,

худо выросший на маце (если б на хлебе!),  
чьи галоши папа прибил к полу...

Где дядя Мориц, певший в Ла Скала?  
Где кантор, тёзка царя Соломона,  
и прадед Мойша 111 лет, и тринадцать его детей  
из местечка Прянички?  
Я на карте искала,  
в черте оседлости во время оно,  
но даже косточек не собрать, хоть убей!

Предпочитая трудящийся дух,  
отец из-под палки учился на тройки,  
на ветер пустил свой абсолютный слух,  
оттрубил лет двадцать прорабом на стройке.  
А раньше старлеем штабной разведки  
(южанин — всю войну в Заполярье),  
рисковый Даня по партизанскому  
королевским жестом освободил Данию,  
чуть не женившись на местной шведке,  
на Лизе-Лотте с острова Борнхольм.  
Её фото в день конфирмации —  
на поpá ставит весь наш семейный альбом.

Отец не знал языка предков,  
законопослушный советский еврей,  
он не терпел плохо закрытых дверей,  
запаха газа и на тарелке обедков.  
Зато знал Гамсуна и даже Блейка,  
«Двенадцать» Блока — коронный номер!  
К чарльстону, извольте, свежая байка,  
а как голосил *тум-балалайка*  
его трофейный немецкий «хоннер»!



В переходном возрасте, после 85 годов,  
налегке залетев ко мне — ранняя птица, —  
в воздух выпалил:

*ну, я готов,  
доча, я готов креститься!*

В последнюю пускаясь дорогу,  
не дотянул, как пращур его, до 111 лет,  
уйдя от товарища Сталина,  
приблизясь к Богу,  
как будто впервые родился на свет.

## К Петру и Павлу

До станции Фрязево никак не доеду  
ни на «гецике» борзом, ни на электричке,  
хотя надо бы успеть — не для переключки —  
к золотым Петру и Павлу  
в среду на беседу,  
на пороге для подмоги свой настроить глас,  
непредвзятого трепеща ответа:  
*вы за что убавили светлый час  
скоромимошедшего лета?*

Пётр и Павел —  
ни попрёка, ни тебе нотации —  
разглядели пионерку, что рыдала  
и, о маминой молясь диссертации,  
Богоматерь в уста целовала.  
А на Пасху, не забуду, —  
поп, взмахнув кадилом,  
попалил мои ресницы-брови-волоса,  
точно причастил огнём,  
и спасали миром  
да ведром воды святой, —  
чем не чудеса!

И жива ль ещё могилка в этой местности  
Пославской Елизаветы?  
У кого б узнать,  
не подлеском ли  
шумит моя крёстная мать,  
учительница русской словесности?

\* \* \*

Только мама  
приучала любить оливки,  
по-русски — маслины.  
В упрямыстве ослином  
я бежала этой культурной прививки  
за тридевять жарких земель,  
в рощи оливковых олеографий,  
выстроенных в каре,  
где любое древо — библейских плодов колыбель,  
на аттестат зрелости сдавшихся в ноябре.

Только мама  
почти до зимы  
Серой Шейкой плескалась в пруду  
и, лыжню проложив ни свет ни заря  
вкруг Новоспасского монастыря,  
себя не тратила на ерунду.

По цвету лица узнавала гастрит  
и разные язвы, колиты, особенно в марте:  
*покажите язык, — говорит, —  
рельеф как на географической карте...*

И всё кого-то спасала,  
учёные книги писала,  
так впряглась, так работала на ура,  
что рабочая лошадь вышла в профессора.

Но теперь —  
ореховой легче скорлупки —  
она крутит на чистом пуху головой

наподобие ветхозаветной голубки —  
её из ковчега выпустил Ной,  
чтоб гулила дочкой моей родной.

А я мычу,  
неисправно молчу  
до самых азов любви:

*мама, горячая моя точка,  
мама, последняя моя отсрочка,  
поживи ещё, поживи!*

## Покупка

На выход, не на торжество  
на премиальные  
мы с Петровской под Рождество  
в перспективе на вырост  
отхватили на ярмарке платьшица погребальные —  
Бог не выдаст.  
Заботы о ближних премного ради  
рассуждали, ничуть не угрюмы:  
— *Где ж похоронные для мужиков костюмы?*  
*А то ведь уйдут,*  
*кто — в цивильном,*  
*а кто — при параде...*

Бежим со свёртками,  
как со свитками жития,  
до самой маковки последней точки.  
У Лиды — на убранном поле цветочки,  
у меня — бирюзовое из шитья.  
И белые тапочки, чем не балетки?  
Батистовый белый платок.  
Мы обе, сиротской зимы однолетки,  
в безвыходный метим поток.

А там поминальным блинком  
горел — в убывающей фазе —  
луны несъедобный ком,  
там бабушка Феня моя с узелком  
суровой, на смерть припасённой бязи  
в сердцах пеняла мне всякий грех:

— *Горе моё, я нарядней всех,  
да только не к месту здесь крепдешины,  
нашла в чём старуху спровадить в гроб...*

И, ладонью размазав слезу,  
я разборчиво написала сыну:  
*все причиндалы —*  
*открой гардероб —*  
*и смертное платье моё — внизу.*

## Перепёлочка

*Федосье Захаровне Калгановой,  
моей бабушке,  
дочери деревенского скрипача*

...кружева вырезала бумажные,  
по праздникам — из фольги,  
наряжая, как ёлку, посудную полку,  
не жалела на блюдо побольше оборку,  
рядками рассаживала пироги.

...выпив стопку, вытирала глаза:  
*хватит баклуши бить, егоза,  
заводи «Перепёлку»!*

Я нехотя поднимала скрипку  
из сна глухого, как из оврага,  
поросшего дешёвым сукном,  
и, угнездившись перед окном,  
где по нотам щебетала бумага,  
почти без вранья начинала:  
*наша перепёлка старенькою стала...*

Поймавши слезу на лету, как ошибку,  
когда встрепенулся смычок,  
рванулась она, и рот — в кулачок,  
узнала и звук, и отцовскую скрипку.

Захар из кацапов  
(забытый мой прадед),  
рукастый в окрестностях мужичок,  
скрипичного дела и музыки ради  
с чудинкой в лесу приглядел чурбачок  
на новую скрипку себе, на свадьбу

(вот бы где петь мне и танцевать бы),  
Захар и без скрипки хорош, с бородой,  
под мышкой с прабабкой моей молодой.

Плясали, пахали...  
Посыпались дети:  
Марфа, Улита, Хрисанфий, и Петя,  
и Феня — губы сковородой.

Как с пылу с жару гуляла улыбка,  
как распалась отцовская скрипка,  
в жизнь провожала по свежей стерне,  
вдруг надорвавшись на бычьей струне:  
*ты ж моя, ты ж моя перепёлочка...*

Песенка спета. Захарий в раю.  
Феня моя у него на подхвате  
в тонком певучем размашистом платье —  
и я такое себе скрою.

Долго без музыки не видно утра.  
Видно, совсем заигралось во сне.  
Продана скрипка.  
И куплена люстра.  
Страшно сказать, по какой цене.



\* \* \*

Умер в 38-м.  
И время-то выбрал какое!  
На поминках трёхлетнего крестника Юры  
мой дед умер от перепоя.

Роман Иваныч Орешкин —  
случай стихийной природы.

На спор махнул поллитровку белой,  
пока его жёнка пела *со святыми упокой*.  
Синий рот синей рукой  
подобрал:  
— *Возьми меня, Юрка, к себе,*  
*жутко, поди, одному в червивой избе...*

Дополз до дивана,  
ткнулся в подушку лицом,  
захрипел.  
Дочь когда пришла за отцом,  
тот не дышал.

И крики, и слёзы разом.  
Схоронили с маленьким крестником рядом.  
Лохматая ёлка меж ними росла,  
и ландышам в мае здесь несть числа.

Я прихожу к нему снова и снова,  
к Роману Орешкину из-под Венёва,  
которого видела только на фото:  
там праздник, может быть, воскресенье —

дружки, самовар, и жена его Феня,  
и сам он с развесистыми губами,  
просвечивающими до нутра глазами  
тревожил прожжённую тьму:  
*тебе, малявке, не по уму...*

Феня читала над ним по псалтири,  
твердила: *спас от колчаковцев,  
вывез нас всех из Сибири.*  
Додельным был мужиком,  
с шести утра — горячий красильный цех,  
потом сапожничал наш золотой орех  
да жёнку по снегу гонял босиком,  
чтоб выла и била в дверь кулаком:  
*— За что любить тебя?*

*А не любить — грех.*

На глазах у соседей — не лишь бы —  
«за отличное поведение» Анины лыжи  
сжёг ещё в классе шестом  
и Сонин портфель «за успехи»,  
самодур запьянцовский,  
топором изрубил для потехи:  
*— Хватит учиться, умницы,  
вам в ткачихи пора или в шпильницы.*

Умер в 38-м.  
И было ему невдомёк,  
что скоро Соня станет врачом  
и Анёк-огонёк, младшая дочь,  
очень известным станет врачом,  
но обе не в силах отцу помочь.

\* \* \*

Откуда здесь эти птицы голодные,  
сплошь блатные, то бишь болотные?

В белых спецовках,  
похожих на майки,  
в месте соития с Минкой Можайки,  
на 73-м км  
вылетают на встречу навстречу зиме  
болотные чахлые чайки.

Усердные мусорщики, мигранты,  
улитки обеденной ради  
чистят кочки, встают на пуанты  
среди камыша, осоки и манника,  
взлетают петардами, как на параде  
в день военно-морского праздника.

Как не узнать их в гнездовом уборе —  
сухие чайнки в воздухе оголтелом  
не чают уже — наступит ли море,  
будь оно Чёрным, а хоть бы и Белым.

\* \* \*

Клязьма,  
щавелевая река,  
зелёных щей с верхом тарелка,  
варёное солнце крутого желтка  
нарублено мелко.

Досыта,  
щавелевая река,  
оскома сводила твои берега:  
и высокий, он всегда — правый,  
а на левом зато — заливные луга,  
*левые* цветы и травы.

Когда тебе не больше десяти,  
на коровий брод не след набрести  
и первопроходцем вести друзей  
в подводный краеведческий музей,  
где скользкие троны,  
на них — тритоны,  
в лучах — лягушачьи короны  
и тонны икры развесной  
на стеблях рогоза весной,  
грозящего расцвести.

Нас рыбаки успели спасти.

## Географическая номенклатура

Каждый четверг в моём детстве был чистым —  
женский день в городской бане:  
шайки казённые, краны с присвистом,  
мылась и мылилась без колебаний,  
пока не разбила пузырьёк с этикеткой *Шипр*.  
И — скорей в предбанник,  
а там по радио:  
*оккупирован Кипр*.

Вот как аукнулось родство названий.

И наша Соня, *София* — столица где-то,  
*Феодосия* антикой подпирала Крым,  
а тётя *Августа* — как завещанье родным —  
остров с золотым месторождением лета.

Вот в чём географическая номенклатура,  
я по карте узнала:

где гора — там дыра.

И вслепую на контуре нашла фигуру  
французского массива *Юра*.

— Это ж Юрка на замшелом разлётся диване,  
в европейском ландшафте *свой*,  
зарывшись в словарь имён и названий,  
демисезонной шуршал листвою.

## Севан

Бык на закате спал впригляд,  
под боком сны, приёмные, как дети.  
Какая ночь прогонит их назад?  
Севан волнуется.  
Невыносимы сети  
у здешних рыбаблей — у всех подряд,  
похожих на трудяг в Генисарете.

И в пресноводном море всех армян,  
где — ни слезинки, хоть земля болела, —  
в бесхозных косяках властительный ишхан  
воспитывает розовое тело.

А мне тянуться вверх, к монастырю,  
под куполом — грабар,  
все побережье — в пене,  
дыхание сбивая о ступени,  
притиснуться поближе к алтарю,  
чтоб вырвалось — я трижды повторю:  
*помилуй блудную!*

И рухну на колени.

## В доме Параджанова

Здесь нет икон. Зато алтарь.  
И — весь кровосмешенье жанров —  
с цветком граната Параджанов  
из кадра выйдет — бог и царь.

Здесь между потолком и сердцем  
конвойным целится индейцем  
наёмный ангел... Но простор  
нельзя остановить мгновеньем.  
Прощён ореховым вареньем  
разбитый бабушкин фарфор.  
Переходящее волнами  
свернулось на постели знамя  
работников культуры Профсоюза —  
тяжёлый бархат, золотая нить.  
И никого — согреть или укрыть.  
А там, в тюрьме, на нарах мёрзла муза,  
«мышинным глазом» вытекла звезда,  
и ты писал:

*я счастлив, что попал сюда.*

# Фракия

*Белле Цоневой*

Закрытой музыкой в шкатулке заводной,  
эпическим мотивом вольной темы  
без мыслей о воде и благодатной тени,  
надёжно, как за каменной стеной,  
спала долина под июльский зной.  
Спала, как все беременные бабы,  
в наплыве дурноты, подточена тоской,  
прикрывши маревом и ямы, и ухабы,  
чтоб до утра утробный свой покой  
от сглаза уберечь и зависти людской.

Но мир уже гудел:

*брюхатая долина!*

И молодой Орфей молитвы пел:

*во чреве чудный град!*

Все боги ждали сына,  
и Стара-Планина, и каждая вершина.  
Но родилась — страна.  
Каков её удел,  
каких она корней, истоков и наречий,  
на брань и брашно падкая жена?

Про чёрный день в гробнице междуречий  
и тайну золота, и жирный сыр овечий,  
о мать Фракия,  
оставь нам дотемна.



\* \* \*

В переводе с болгарского *галя* — не имя.  
Но глагол и пишется со строчной,  
а Вера, Надежда, Любовь с прописной  
разгуливают нагими.

Имя Галя изгваждало моё детство,  
грезилась *Злата, Земфира, Марго, Эвридика*.

Парнишку, на даче скучавшего по соседству,  
ввела в обман изошрённо и дико,  
представившись: *Иоланта*, короче — *Ио*,  
иностранная, мифическая, золотая...  
— «Иоланта» ведь опера!  
И ты не слепая.

Родители чуть не назвали *Руфина*  
за то, что девочка (ждали сына),  
и денежная объявилась в стране реформа,  
в созвучии с ней и росла бы Ру-фи-на,  
если б не телеграмма от тёти на двух бланках:  
...*за синие очи и чёрные волосы назовите Галка*.

Теперь на 8-е марта все, кому не жалко,  
жалуют кубики от Gallina Blanca,  
хотя во мне ничего однокоренного с курицей,  
галатами, галлами и гало,  
но кое-что от тишины (повезло),

от милости её и смелости —  
ядро молочно-восковой спелости  
на вкус, и на слух, и во взгляде.

Галя — болгарский глагол *нежить*,  
*ласкать, по головке гладить*.

\* \* \*

Вдоль берега сна мелькнул летающей рыбой,  
которая не умирала.

И я  
вдоль другого берега  
мелко жила.

Кем я была?  
Охотничья чайка,  
промысловая камбала,  
что по Божьему промыслу себя проспала?

Холодней рыбьей крови на рыбьем меху шубы,  
перегорели глаза электроскатов и черепах,  
два берега тянут в улыбке сухие губы,  
меж ними небо — в голубых черепках.

## Апрель

*Ярославу*

От надрыва фольги — ветерок липкий,  
живая музыка почти не подглядывала в ноты,  
но жестосердые так и цепляли скрипки  
и смычками тянули:  
*кто ты?*

Горько твержу во рту вкус шоколада  
и, пока надо мной горит самый верхний свет,  
вижу:  
стреножив велосипед,  
ты выходишь вживую из детского сада  
без верхнего зуба,  
здорового полон азарта,  
в атмосфере московского дворика — акварель.

Как ещё далека безотцовщина чёрного марта,  
ещё исподлобья ребячится синий апрель,  
и в нём не стихает музыка эта живая,  
и едет цигейковым «зайцем»  
на 5-м маршруте трамвая,  
как главная тема каждого дня.

Слушаю живую музыку,  
а она — живую — меня.

\* \* \*

В замшевых шортах баварских мальчишки  
галдят по-немецки, хохочут,  
старший — задиристый кочет,  
а младший — потише.

Бегут два подпaska и гонят по склону  
всех яловых, стельных и дойных,  
как Зорьку, Бурёнку и Доню...  
Альпийские горы к ним благосклонны.

Кому ж отдуваться своими боками?

Не бросив на землю взгляда,  
тучнее летучее стадо  
справными кучевыми,  
парными молочными облаками,  
чтоб я по-русски, словами своими  
большие дожди сочиняла  
и время — тугое тягучее вымя —  
слёзы коровьи роняло.

## Москва — СПб

Говорят, Москва — большая деревня.  
А Питер уже — областной  
и на вырост не тянет,  
там всё население и даже деревья  
себе страдают: *островитяне*.

Москва красна.  
Питер — голубых кровей,  
и в масть ему горбоносый профиль Растрелли.  
В бессоннице северных пресных морей  
белые ночи все глаза просмотрели.  
Помнишь,  
мы звали тебя *Ленинград*,  
младший, столичный, наш каменный брат,  
по плечу — тяжёлая нельская прядь,  
с мостами в тёмном разводе,  
и всё же боязно потерять  
тот остров в скудеющей русской природе,  
куда поэт не пришёл умирать.

И я не приду.  
Здесь меж островами,  
канавками, речками, рукавами  
нет на Смоленском живого места,  
хоть жизнь так опасно приблизилась к тексту,  
что готова сложиться своими словами.

## Декабрьский переулок

*Памяти Михаила Письменного*

В комнате смеха до стены Плача  
дух не перевести, и всё бегом.  
Жизнь — безответная задача —  
решилась навзничь и молчком.

Ответ приготвила природа:  
Декабрьский переулок в адресах.  
— Служивый, как тебе на небесах?  
В архангелах твой тёзка, воевода —  
он с пламенным мечом, с весами и зерцалом,  
и ты ему — как *свой* — с глаголом над вокзалом,  
над городом, и Клязьмой, и мостом,  
тебя узнают сад и отчий дом  
сквозь строй готового к нападкам снегопада,  
сквозь ангельскую рать.

Родившись в декабре, сподручней умирать  
в таком же декабре.  
Солнцеворот — награда.  
И ты — на глас архангельской трубы —  
как день,  
прибывающий в нас за труды.

## Зимняя песня

Лес не шумел.  
Его покоил снег  
сугробами с московской барахолки,  
глазок дупла,  
лыжни двойной разбег  
и тропок разносолы, разнотолки.  
Здесь лапы колкие при всех  
тянули дрессированные ёлки.  
Попробуй не ответь!  
Из-под смолистых век  
стращали кабаны и даже волки.  
Я не чуралась их. Я — не чужак.  
И тёплым был рукопожаться знак,  
почти взаимность в нежности дремучей.

Совсем ручные, бесприютны мы,  
все — как один несчастный случай —  
в еловых лапах, на краю зимы,  
читая по губам: *бесаме мучо!*



## Пейзаж с мешками

Мешки целлофановые —  
сорт рукодельных цветов  
или дешёвые из секонд-хенда наряды —  
на грузных деревьях,  
на гибких фигурах кустов  
трепещут телами — почти дриады.

Воздушные замки из себя состроив,  
где фиговым листиком не прикрыться,  
приют для продувных героев,  
мешки вдруг прикинутся:  
мы — птицы, птицы...  
Синий — синицей,  
розовый — снегирём,  
а чёрный мешок — чёрный лебедь Одиллия —  
исполнит батман и надуется пузырём,  
трудовые порвав сухожилия.

Полощутся на небесных путях —  
белый, голубой, красный.  
Пейзаж с мешками  
одним — пустяк,  
другим — отметка жизни несообразной.

\* \* \*

...а сердце по природе приживалка,  
по которой плачет коммуналка,  
где в многодетной потной тишине  
стирали белое бельё при подрастающей луне:  
трусы, пелёнки, простыни, сорочки.  
Верёвок надорвавшиеся строчки —  
и — щёлк! — прищепки по привычке  
закрыли свои хищные кавычки.

Не всё изгваздано, хоть звёзды поугасли,  
младенцев на прирост уже не носят в ясли,  
лишь коммуналки всё растут в цене,  
жильцы в рассеянье, как грешники из рая,  
и где тот дом, где, рук не покладая,  
изжив себя и плача о стране,  
при убывающей луне  
лишь чёрное бельё стирали.

# Ташкентские адреса

## 1.

Без фальши звериное слышно трезвучие —  
петух,  
собака,  
корова ни свет ни заря —  
под небом, с прохладцей затянутым в хан-атлас.

Просыпалась за окнами вслух махалля,  
и чай зелёный трижды женили при нас,  
и духом курдючным витийствовал утренний плов.  
— Кому драгоценные камни за пазухой?  
Кому задарма обиды?

Подрублены корни когда-то родственных слов:  
тимуровцы были — вчера,  
сейчас — тимуриды.

## 2. ул. Пушкинская

Там, на родине солнца, чего только нет:  
нет ни тени твоей,  
ни дома с балаханой,  
где — из последних жил — соловей  
жил и куражился над тишиной.

Ищи-свищи этот адрес!



Но сколько сирот,  
растительной памятью притягивающих кислород!

В развороченном небе не всё заживёт до утра.  
Убийственная в Ташкенте жара.

\* \* \*

Весь невозвратный выводок глаголов,  
рванувших борзо из-под руки,  
без отпусков и дармовых отгулов  
учил дышать во всю длину строки,  
пока луна тянула на лимон  
в косноязычной круговерти:  
нет у любви ласкательных имён  
и уменьшительных — у смерти.

Известно, как секрет военный,  
не тронувший детей и тронувшихся баб:  
нет уменьшительно-ласкательной Вселенной,  
где б жизнь держала слово —  
как масштаб.

# Трёхголосие

## 1.

*Сергею Надееву*

Вот и семейное дерево зацветает:  
сплошь междометия на уроке зимы,  
а всё казалось, тепла не хватает,  
и вроде бы стыдно попросить займы,  
ведь ни мне, ни тебе отдавать нечем,  
и вдруг — зацветает,  
растительный вызревает свет  
лепестками,  
тычинками,  
возгласом человеческим,  
только речи о нас ещё нет.

## 2. Флора Крымская

*Владимиру Салимону*

В праздничном сари из детской простынки,  
в правом ухе серёжка,  
сама — босоножка —  
кручусь перед ней  
с хрипотцой патефонной пластинки,  
стараюсь донельзя:

*страна родная Индонезия...*

Глаза — солёной воды алмазы,  
циновка в прихожей — малая сцена.

— Здрасьте, тётя Флора,  
богиня Флора с картины Пуссена,  
я не сфальшивила ни разу!

Гжельской вазочкой для варенья  
до краёв наполнила мой день рожденья  
и горло проверила сразу:  
тётя Флора — серьёзный врач.

О сыне, о сыне вила свою речь,  
всю в лианах —  
не общие фразы.

Хотелось ей дочку родить по весне,  
ей, Флоре Крымской,  
укоренившейся не вполне  
в коммуналке,  
в резко континентальном сне  
с авоськой худого московского лета.

И в сыне своём она угадала поэта.

### 3.

*Андрею Грицману*

Обуреваемый прытью и плотью,  
не прибит к берегу  
и не пришпилен к платью,  
ты не строй из себя боевую варяжскую лóдью,  
выходя на простор камуфляжной гладью  
или рябью —  
по Чистым прудам —



стежками,  
ты дерзко себя усмиряешь стихами,  
на свет выводишь, не зная броду,  
на чистую воду, как на природу.  
Оттого на Москве такая погода,  
и ты ей — ветер  
без перевода,  
во облацах и во языцах свободный  
на все четыре сезона,  
двойкодышащий,  
земноводный,  
ты — русский ветер с Гудзона.

## Коктебель

С утра —  
варёный рапан в сметане,  
мидии с овощами  
и даже бычок с верхней рваной губой —  
играет с тобой, как гобой,  
старыми джазовыми вещами.

Это прибой,  
когда жизнь не коло- и не круговорот,  
а море чубатых барашков,  
на солнце чубарых,  
коньков вопросительной глубины,  
ночи сгоняющих в табуны,  
дни — в отары.

Нет сухопутного выхода за кордон  
от Карадага до мыса Хамелеон,  
ни маяка, ни голоса,  
сам себя правь,  
бассом разбрасываясь, идя на спине,  
лишь бы явь переплыть и явиться вплавь  
там, где Волошин бороду полощет в волне.

\* \* \*

...клавиши Божьи в утробе органа,  
тугие, горячие, крепче аркана  
тянем в себе нутрянную ноту,  
и как на работу — чуть след! — на охоту  
за словом, ясным без перевода,  
за звуком, крепким во всех языцах,  
во всех регистрах красна природа  
и темноликое небо в блицах,  
когда мы в голос голосом тычем,  
бисовы дети, вечные чада,  
на человечьем, рыбьем и птичьем,  
и просим, и просим — как хлеба —  
пощады.

## Из цикла «Стихи к Ревичу»

### 1.

Ночь густа, как чёрный лес  
диких маминых волос,  
достающих до небес,  
мокрых от дождя и слёз.

Луч пролез в дверной проём,  
стриж — из-за стрехи.  
Детский лепет. Сколько в нём  
певчей чепухи!

Мать ушла. И не подать  
до неё рукой, —  
только б сыну за стихи  
вымолить покой.

### 2.

Ну при чём здесь война?  
Просто пёстрое лето,  
Страна Девятнадцати Лет.  
Было — и нет.

*Александр Ревич*

...не шёлковый — за версту видать,  
в рубашке родившийся воевать,  
с породистым бантом на шее,  
с прискоком

крапиви потешной саблей срубая,  
дѣру давал от злого бабая,  
а ночью с портрета напуган Блоком  
в космах, как у бабы-яги...  
Руки в ноги, беги!  
Поднимай рукопашный свой космос,  
боец, огурец, шальной оголец,  
под огнѣм и в плену 41-го летом,  
а потом ползком по Азову зимой,  
чтоб, варясь до костей в сталинградском котле,  
вынырнуть — как из утробы — поэтом  
и раненой волей дышать на земле  
с осколком в боку,  
со стихами солдата  
в составе штрафбата, в самом соку,  
в Стране Девятнадцати Лет.

Было — и нет.

## Сочинительницы

### 1.

В меру красного нацедила вина,  
луна — один на двоих чебурек.  
— Павлова или Ростопчина? —  
с аппетитом входила во вкус Таня Бек.

— Додо?

Дворянских кровей сирота,  
вместо маменьки — парадная зала,  
и слова не пролетит мимо рта,  
ей питательна светская суета,  
она — жорж-зандистка, царица бала,  
на ходу,  
за обедом,  
в карете  
стихи, как исповеди, писала,  
карандашик зудел в корсете,  
и за один присест,  
когда мазурку плясала,  
овца словесная,  
поэтический выдала манифест  
*«Как должны писать женщины»*.

— Стихотворцев мужского пола  
перешибла многих.

Московская школа!

— А Павлова?

— Муза, Вера?

— Нет, Каролина.



## 2. Смерть курсистки

Мы празднуем мою близкую смерть.  
Факелом вспыхнула на шляпе эгретка.  
Вы улыбнётесь... О, случайный! Поверьте,  
Я — только поэтка.

*Надежда Львова*

Я не был на твоей могиле,  
Не осуждай и не ревнуй!

*Валерий Брюсов*

Наивная зелень глаз,  
как с Большой Зеленцовской у всех,  
шляпка эмансипе, ласточкино пальто.  
Поэтки Наденьки Львовой слёзы и смех  
не зарифмует никто.  
Муза, подпольщица и королева —  
по мнению мэтра, ей уступали  
и Марина Иванна, и Анна Андревна,  
обе — булатной стали.

Поэтка — трагическая невеста.

Г-н Б. — мэтр, он же — истинный гений жеста,  
завёл шуры-муры на широкий манер:  
шампань, стихи, охота среди финских шхер,  
когда друг на друга ночами ходили и вброд.  
Она умоляла: *попроси у жены развод*.

И г-н Б. элегантно — не брюлики, например,  
не молитвенник — барышне невдомёк —



преподнёс ей почти игрушечный револьвер  
с инкрустацией из перламутра.

Женой он жертвовать не мог.

Наденька в сумерках московского утра:  
*Вы разлюбили ещё в прошлом апреле,*  
*après, après...*  
писала письма и жгла в постели,  
в мебелирашке в Константинопольском подворье,  
пепел в ведре утопив, как в море.

А у мэтра — журналы, журфиксы, артистки...

И Наденька честно —  
в духе максималистки —  
застрелилась под вой метели.

Её оплакали, но не отпели.  
В газетах курсивом — *«Смерть курсистки»*.  
Г-н Б. удрал в Питер. Его сожалели.

### 3.

*Ирине Волобуевой*

Гулёны и шлэндры, айда ко мне,  
восьмой этаж почти на луне,  
я здесь...  
гуляю головой в окне  
одна в целом свете,  
а свет мой погас,

и своры слепней набросились враз  
на глаз-алмаз и на глаз-хризопраз.

Но кто же  
болящую музу с клюкой  
подхватит, поддержит надёжной строкой  
и прямо до неба,  
до ближнего неба  
проводит в приёмный покой?

4.

*Памяти Татьяны Бек*

Твоя брошка с небьющимся уже сердоликом,  
с ущербной луной на тусклой латуни —  
мой остров сокровищ,  
не меньше ладони,  
где можно было бы стать человеком,  
или сестрой, или товаркой по цеху  
с дудочкой вольнонаёмной музыки,  
разводящей насмерть, навзрыд, на потеху  
и писательские, и дружеские союзы.

Какая мёртвая прописалась в Москве тишина,  
короче *Вечная память*,  
и голос до дрожи тонок.

Вот и весь человек,  
и его Богом избранная страна,  
где ты никому не мать и не жена,  
а только — баба, поэт,  
только — крупный поздний ребёнок.

5.

*Ирине Муравьевой*

Первомайские листья, витрины и флаги,  
улица III Интернационала.  
У всех на виду — чуть было не проморгала —  
неземная, в облаке из бумаги,  
потешно изобразив объятая,  
в пустом советском универмаге  
гольшом, но в капроновом платье  
таращилась кукла-моргалка,  
на руке наколка: *импорт, КАТЯ*  
(сразу видно, не Ирка, не Галка).

Без этой цацы, бестии, крали  
как мы росли и во что играли,  
пацанки дворовые,  
барышни городские?

И дочки-матери мы — никакие.

\* \* \*

Я помню стать сарьяновской собаки,  
качаловского Джима при луне,  
Каштанку и Арто — как цирковых — во фраке,  
Муму — на дне.

На голубом глазу поверю сразу —  
дворняга Павлова,  
терьер Карандаша,  
ищейки, пастухи и водолазы —  
бессмертна ваша зверская душа.

Собачье отродье,  
сучьи дети,  
за озверелость сердца и ума  
бегите нас, холодных, как зима,  
бродячих, бешеных, бездомных на планете,  
на той, что Шариком звалась сама.

\* \* \*

Как маленькие дети, в жестокой правоте  
слова любви и смерти мы шепчем в темноте.  
Всё реже в сердце залпы, а в воздухе — восторг.  
Всё к смерти клонит запад, и лишь к любви — восток.

От косточки до праха вздохнёт и вздрогнет твердь.  
Ни отзвука. Ни страха. Одно — любовь и смерть.

\* \* \*

Где ты,  
мой мальчик Мотл?  
В колтуне колких от звёзд вётл  
ищешь Бога,  
как близкого друга,  
бреднем шарить в закромах Буга,  
жадно жаришь с загаром бычки  
и, пока не слепит глаза выюга,  
изобретаешь солнечные очки...

Как ты от меня недалёк,  
мой маленький Мотл, мотылёк!  
Горек нектар?  
Власть на ус мотаешь,  
перелетаешь,  
воздух тоской латаешь.  
И такая взмахов твоих широта,  
что спутаны в сердце координаты:  
и пятый пункт,  
и калитка в пенаты,  
и смех — мимо глаз,  
и слеза — мимо рта:

*«Мне хорошо, я — сирота!»*

\* \* \*

...когда дети, перестав прятать глаза,  
ввалятся, как на именины,  
с икрой, цветами и фруктами  
(живой натюрморт малых голландцев)  
и накроют тебя и твою больничную одиночку  
волной стерилизованного мажора,  
когда они,  
вдруг никуда не спеша,  
начнут ловко блазнить  
наклёвывающимся летом  
или бросятся расходовать налево-направо  
дорогие учётные поцелуи,  
как обезболивающее последнего поколения,  
стиснув при этом твою вяленую руку,  
а своей — рисуя воздушные мосты  
в обратной к тебе перспективе  
и уже в дверях зазубривая  
имена предков, их жён и побочных детей...

Значит,  
луна твоя на ущербе,  
а солнце вот-вот скроется из виду.

## Содержание

«Быть полукровкой, не различая в себе горизонта...»	5
Мой папа — Даниель	6
К Петру и Павлу	9
«Только мама...»	10
Покупка	12
Перепёлочка	14
«Умер в 38-м...»	16
«Откуда здесь эти птицы голодные...»	18
«Клязьма, щавелевая река...»	19
Географическая номенклатура	20
Севан	21
В доме Параджанова	22
Фракия	23
«В переводе с болгарского <i>галия</i> — не имя...»	24
«Вдоль берега сна мелькнул летающей рыбой...»	26
Апрель	27
«В замшевых шортах баварских мальчишки...»	28
Москва — СПб	29
Декабрьский переулочек	30
Зимняя песня	31
Пейзаж с мешками	32
«...а сердце по природе приживалка...»	33
Ташкентские адреса	34
«Весь невозвратный выводок глаголов...»	37
Трёхголосие	38
Коктебель	41
«...клавиши Божьи в утробе органа...»	42
Из цикла «Стихи к Ревичу»	43
Сочинительницы	45
«Я помню статью сарьяновской собаки...»	51
«Как маленькие дети, в жестокой правоте...»	52
«Где ты, мой мальчик Мотл?...»	53
«...когда дети, перестав прятать глаза...»	54



Галина Климова. В своём роде.

редактор:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

В оформлении обложки использована картина Леты Югай.

Автор фото на последней странице — Сергей Надеев.

издательство «Воймега»

**[voymega@yandex.ru](mailto:voymega@yandex.ru)**

**[alkonost.mail@gmail.com](mailto:alkonost.mail@gmail.com)**

Подписано в печать 15.07.2013

Формат издания 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Усл. печ. л. 3,5

Тираж 500 экз.



Галина Климова — поэт, переводчик. Родилась в Москве. Окончила географо-биологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина (1972) и Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Евгения Винокурова, 1990). Автор книг стихов «До востребования» (1994), «Прямая речь» (1998), «Почерк воздуха» (2002), «Север — Юг» (2005), ещё три сборника вышли билингвой в Болгарии. Переводила болгарских, польских, сербских, китайских и армянских поэтов. Составитель антологий «Московская Муза» (1998 и 2004), русско-болгарской антологии «Из жизни райского сада» (2001).